

**О**СЕННЯЯ Москва одна тысяча девятьсот сорок восьмью года. Я только что поступил в Литературный институт. В первые дни сентября занятий не было. Безденежные бедолаги, студенты не знали, куда себя девать. Даже мелочи на кино не могли наскрести.

Прозаик из Коврова Сергей Никитин перевелся в наш институт из Института международных отношений. Он уже знал о существовании Центрального Дома литераторов, поэтому и пришла ему мысль: а не отправиться ли туда? Коль повезет, попадем на бесплатный концерт или на поэтический вечер. Выступала певица, но мы предпочли заседание детского писателя. Вдвоем с Никитиным завалились в кожаное кресло и совсем не стеснились друг друга. На это почему-то обратил внимание огромнолобий человек в костюме уютного серого цвета. Он сидел в таком же кресле, напоминая загорелым до черноты лицом мудрого дядя. Вел заседание писатель Алексей Мусатов. Мы принялись слушать его вступительную речь. Никогда раньше я не оказывался среди писателей, да и не мог оказаться: в Магнитогорске, откуда уехал учиться в Москву, их не было после Отечественной войны. Душа моя кувиркалась от восторга, точно голубь-игрун. Моментами даже не верилось, что я очутился среди писателей, в обстановке по-домашнему малолюдной, своей: никто не смотрел на нас как на чужаков. Возвышенно радостное настроение подкреплялось красотой гостиной, стены и потолок которой были отделаны мореным дубом. За спиной Мусатова, богатырски крупного и славного, находился камин, над камином мерцала мрамором, как изморозью, голова Аполлона, перисто охваченная лавровым венком. Сергей Никитин, обнаруживая ласковую ироничность, заметил, что я весь на воздушях, и тут же шепнул мне, что дядец в сером костюме — Константин Георгиевич Паустовский.

— Только не заходишь, парнишечка, — добавил он, трогательный в своей дружелюбной подначке.

Не то что подначка, не умерила бы моей восторженности даже издевка. С этой минуты я мысленно повторял: «Неужели я вижу Паустовского?»

Нередко бывает так, что писатель, разбирая ценное им произведение, впадает в патетику, которая невольно тащит за собой казенно-специальные термины. Алексей Мусатов, разбирая рассказ Юрия Нагибина, допустил смехотворную стыковку слов:

— В рассказе о жокее Юрий Нагибин талантливо раскрыл тему воспитания жеребца.

Эйфоричность состояния не помешала мне весело ужаснуться теме воспитания жеребца. Если бы я не зацепился за это несурзное словосоединение, одно уж то, что затронуло в безмолвном смехе Константина Паустовского, вернуло бы мой ум к нему.

Сергей Никитин пролепетал, зажимая в себе хохот:

— «Тема воспитания жеребца»...

Никто из писателей не кхекнул. Они продолжали серьезно слушать председателя, притерпевшись к железобетонной терминологии, и лишь у некоторых веселые искорки перескакивали из глаз в глаза.

У Сергея Никитина, как позже узналось, был абсолютный вкус на слово. Другого чей-то эстетический прокол позабыл бы на миг, Сергея он будоражил до изнеможения. Едва мы вышли из Дома литераторов на улицу Воробьевского, он вспомнил, как трясся Паустовский от «темы воспитания жеребца», и стал закатываться от смеха. И я не удержался, хотя мимо нас проходили писатели. Мы чуть животики не надорвали, потому и чуть пле-

лись по тротуару. Скоро свернули в переулок, где позади посольского здания Сергей Никитин углядел над воротами гаража слепок лошадиной головы. Когда-то здесь находилась конюшня, похожая на флигель, и, чтобы устранить путаницу, под крышу прилепили скульптурный указатель. Голова лошади вызвало в нас новый приступ потехи. Тут как раз и появился из-за угла Паустовский.

— Тема воспитания жеребца! — крикнул Сергей Никитин и ткнул рукой по направлению к лошадиной голове.

Паустовский глянул туда, застряхивался и, все ниже склоняясь над тротуаром от задыхающегося смеха, ушел на улицу Герцена.

Сперва меня определили в поэтический семинар, который вел профессор Леонид Иванович Тимофеев, потом Сергей Никитин вовлек в прозаический семинар Николая Ивановича Замошкина (тогда он заведовал в институте кафедрой творчества). После Замошкина, приглашенного Федором Ивановичем Панферовым, знаменитым писателем и главным редактором журнала «Октябрь», к себе в заместители, семинар возглавил Валентин Петрович Катаев. Я остался в этом семинаре, Никитин перевелся к Паустовскому. Семинары проводились по четвергам, и мне никак не удавалось побывать на занятиях других семинаров.

Вещи в нашем семинаре читались слабые. Катаев сердился. Однажды, давая нам задание описать памятник Пушкину (Пушкин еще стоял на Тверском бульваре, но его уже собирались переносить), Катаев сказал, что очередной четверг пропустит. Быть может, за это время нам удастся накопить что-нибудь с признаками свежести. Еще в школе я заметил в себе угнетающую особенность: из-за сочинений по заданию мою душу до того корежило, что жить не хотелось. И все-таки я хотел переломить себя и поярче выполнить задание. В свободный четверг я ждал мгновения, когда останусь один в комнате, где обитало человек десять. Последним из комнаты уходил Борис Васильевич Бедный. Он поинтересовался, заметив мою маету, почему-де, вынош, ты не спишишь на семинар. Я объяснил. Тогда Борис Васильевич вспомнил с возмущением (он был старостой семинара Паустовского), что я не удосужился до сих пор побывать на семинаре Старика. Старик, по его словам, собирался ехать в Ленинград, чтобы собрать материал к повести о судожнике Оресте Кипренском.

— Так что, дорогой вынош, торопись, — прибавил он, — в противном случае тебе грозит застой.

Отличительным свойством натурн Бориса Бедного была шутовскость, замешанная на срыве, или балагурство с привкусом тревоги.

Он приобнял меня и, выводя из комнаты, говорил о том, что необходимо ловить исторический случай, который способен «раскуливать» — освободить от кокона — талант. Талант, находящийся в гусенице, воспринимается не без брезгливости, страха, подозрительности. Раскулилась гусеница, высвободилась, к примеру, из себя бабочку «адмирал», и все млеют, дорогой вынош, прославляют ее коричневый, с бархотцей цвет, красные квадратики, в которых на задней части крыльев черные точки, а один квадратик с голубым серпиком. Надо сегодня поймать исторический случай...

В тот день мне стало ясно, почему в институте гремел семинар Паустовского. Старик не скаредничал, рассказывая о жизни, он дарил нам наблюдения и мысли, давшие ему в непрестанном поиске, выстраданные в открытиях. Отдавая, он не разорялся, а богател.

Паустовский пришел на семинар внутренне собранным. Студентов волновало обсуждение: должен был читать рассказ

Юрий Трифонов из семинара Константина Александровича Федина.

Старик отступил от привычного установления: чтение, критический суд. Он заговорил о ремесле. «Мы исповедовали вдохновение и презирали ремесло. Мы поклонялись всеоздательной, всеобразующей природе вдохновения». Он заговорил об умении, полируемом и уточняемом трудом. Не к литературе он обратился. К балету. «Когда в Большом театре танцует балерина Галина Уланова, редко кто догадывается, что за воздушной непринужденностью исполнения скрыты длительные каждодневные «упражнения у станка». Техника танцевальных фигур, доводимая до совершенства в ее неразрывности с вдохновенным талантом, создает гармонию балетного искусства».

# СОЛНЕЧНЫЙ СТАРИК

Николай ВОРОНОВ



Чувство моря не прерывало слитности с духовным миром Паустовского.

«Вдохновение — всего лишь ветер в паруса фрегата, вышедшего в открытое море творчества. Фрегат не сдвинется с места без ветра, но он далеко не уплывет, наверняка погибнет без стремительных матросских навыков в их пользовании парусами, без умных и смелых команд капитана».

Он так умел сочетать романтическое с обыденным, что оно не вызывало ни разочарования, ни отчаяния. Напротив, необходимость их единства начинала вживляться в твое сознание. Едва, закружив мысль, он указал на то, что Лев Толстой, являясь автором всемирно известных романов «Война и мир» и «Воскресение», делал в тетрадке упражнения, чтобы усвоить новые синтаксические конструкции, мы уже свкались с огорчением, что слишком самоуверенно заблуждаемся.

Подобно большинству соучеников, я ориентировался на теорию вдохновения, оттого и не очень-то страдал, что мало работаю. И вдруг стало понятно, почему славны среди жестоко требовательного студенчества Борис Бедный, Юрий Бондарев, Виктор Гончаров, Владимир Солухин, Владимир Тендряков, Юрий Трифонов... Быть талантливым — значит вкалывать до упаду. Работа — и обязательная, и спасительная, и успешная неизбежность — вот что внедрилось в мое сознание на том семинаре Старика. И я уяснил, что ленив и навряд ли научусь упорству, однако вступил в битву с самим собой за то, чтобы вкалывать по-настоящему. Теперь к той догадке я хочу сделать добавление, выращенное опытом труда: работа — и обязательная, и спасительная, и успешная неизбежность, силой страсти равная любви.

**П**ЕРЕДЕЛКИНО, где я прожил полтора последних студенческих года, манило меня. По осени я приехал туда в Дом творчества из Магнитогорска. Урон воен-

ный, хотя и прошло больше десятилетия, как смолкли победные залпы советского оружия, угнетал, но время было духовно-подъемное. Растворенная необходимость стремительней преобразовывать и мыслить становилась народной возможностью. Вдохновенно покоряющим был дух надежды, поиска, находок. В Москве, столице — победительнице фашизма, генерировались идейные токи, необходимые и стране, и планете. Отвервом от столицы можно было лишить себя важной умственной подзарядки. Переделкино рядом с Москвой, да к тому же место постоянного обитания редких писателей: Всеволода Иванова, Валентина Катаева, Георгия Маркова, Леонида Леонидова, Павла Нилина, Леонида Соболева, Николая Тихонова, Бориса Пастернака, Константина Федина, Алек-

сандр Яшина, Назыма Хикмета... Совершить большой или малый прогулочный круг с Катаевым, посидеть на даче у Нилина, увидеть хотя бы одним глазом колдовский загадочный в слове и потаенного в своем поселковом затворе Леонова, вслестя налюбоваться картинной яростью овчарок, идущих на задних лапах вдоль сквозного забора, за которым в глубине двора маячила фигура высокого красавца Назыма Хикмета, поволноваться за Корнея Чуковского, глядя, как он на ходульно-подломистых ногах старикана бежит по дорожке, чтобы, сорвав галентно шляпу с головы, упасть на колено перед дамой и с медовым причмоком поцеловать у нее ручку, — все это могло быть одним из властных и зрелищных притяжений переделкинского бытия. Однако это была лишь часть того бытия, до экзотичности малодостижимая. Главной же частью его являлся достижимый для меня Дом творчества. Его предназначение оборачивалось одомашненным характером отношений между писателями разных поколений, среди которых скромно пребывали прозаики, поэты, драматурги, уже в ту пору обозначаемые молвой как классики или «грозившиеся» стать ими.

Борис Бедный, снимавший две комнаты у киносценаристки Виноградской (дача ей принадлежала не целиком, какое-то время ее совладельцем был писатель Александр Бек), навелка меня, сказал, что Бек ищет рассказы для очередного выпуска сборника «Литературная Москва». Благородный остроумец, Бедный обычно приправлял шутовскостью всякий деловой шаг:

— Опубликуют в альманахе — войдешь в мировую литературу.

Мы зашли к Беку, и я оставил ему рассказы «Бунт женщины», «Нейтральные люди», «Гудки паровозов». Бек тоже был шутовкой, только в своем роде: он любил шокировать. С неделю, здороваясь со мной, быстро пробежал мимо. При этом на его лице выскакивала мина пренебрежительного недоумения. Оглядываясь, он хмыкал торжествующим тоном: Я теряюсь, не рано ли решил предложить новые вещи. Тем не менее что-то во мне определяло,

сегодня вечером хотел бы со мной познакомиться.

Каверина я читал, слушал, видел. Сравнительно недавно завершилась «Открытая книга». Она представлялась мне масштабным произведением. Захотелось, если встреча состоится, порасспрашивать его, как складывалась эта вещь. Я уж подумывал о романе с временным охватом в сто лет, правда, через отступление, а непосредственное действие должно было начинаться на Урале в конце двадцатых годов нашего века. По наивности я еще не догадывался, что чужой опыт склоняет к подражательству и что каждый настоящий роман выстраивается по законам, достижимым для его автора. Эту очевидную для опытных мастеров истину и высказал Каверин, когда мы встретились возле Дома творчества. Разговор был кратким, но радостным для меня: рассказы Вениамину Александровичу понравились, он передал их Паустовскому, тот успел их посмотреть и завтра ждет меня у себя, на Котельнической набережной. Стремительность, с которой читались рассказы, действовала ошеломительно, хотя вторая половина пятидесятых годов, если ее сравнить с первой, заметно набрала быстроты в редакции дел. И все же моему впечатлению молодого литератора, какой нестрадался из-за журнально-издательской медлительности, скорость прохода жденыя рассказов казалась чуть ли не космической. Разумеется, тут была добавочная причина для восторженного смятения: вещи-то для третьего номера «Литературной Москвы», уже ставшей знаменитой, подбирали члены редколлегии из весьма заметных советских писателей.

Высотный дом над Москва-рекой соответствовал, как подумалось, личности Паустовского. Но едва домработница ввела меня в кабинет, затопленный осенним солнцем, и я увидел Старика за большим столом на фоне громадного окна, он, сутулый, обернувшийся, выглядел до обиды маленьким, баззащитным. Мир за стеклянным полотном окна, вдоль которого свисали из горшков цветочные плети, воспринимался как бескрайний аквариум. Не исключая, что мне переда-

лось в этот миг состояние печальной неуверенности, копившейся в сердце Константина Георгиевича. Он как раз гнулся над версткой второго тома своего собрания сочинений. Радуясь верстке, он переживал одновременно о том, что собрание сочинений может затормозиться, ибо тогда в печати подвергались критике рассказы Александра Яшина «Рычаги» и Юрия Нагибина «Свет в окне», напечатанные во второй книге «Литературной Москвы».

Старик собрался подарить мне свой первый том, но я уберечь его от благородной расточительности: у себя в Магнитогорске получил том по подписке. Чуждый автографическому тщеславию, теперь я жалкую о той, вероятной, дарственной надписи. Невдомек нам по молодости истинная сокровенность жизни: с возрастом важнее душе даже мельчайшие заметы памяти, способные воскрешать всех тех, кто слагал духовную историю страны и, по счастью, был сопричастен твоей судьбе.

Редакторские замечания Паустовского не огорчили меня.

дым, что хоть лезь на трубу и дыши им, другой изобразил с таким гурманским шиком асфальт, уподобив его глазированной икре, что хоть выходи на обочину тротуара, колупай ломом и ешь, третий настолько привлекательно описал коксовую печь, что в пору принять ее за санаторий. В грехе живописного украшательства Паустовский усматривал не только фальшь искусства, но и социальный обман, вредный для существования. Теперь, когда эстетические мерилы такого рода укрепились и начинают действовать экологическая наука, справедливо напомнить о том, какой замечательный вклад в нынешнюю картину литературы и смежных ей искусств, а также в картину нашего бытия внес Константин Георгиевич Паустовский.

Что бы ни составляло содержание творчества писателя, вне движения эпохи нет его судьбы и психологии. Миром моих записей и воспоминаний являются прежде всего прошлые и люди, переставшие быть физически, но духовно продолжающиеся в

как любит говорить мой дружок Коля Воронов, ибо в двух институтах проходил французский язык.

Умел Нилин подзавести присутствовавших. Заулыбались. Отшучиваются. И закрутилась карусель разговора.

Паустовский работал над продолжением «Повести о жизни». Он весь был во времени, которое последовало за гражданской войной на Черноморском побережье, и развлекал нас устными рассказами...

**К**

СТАРИКУ в Тарусу я поехал вместе с писателем Владимиром Кобликовым. Утром одиннадцатого августа мы сели в калужский автобус. Накануне дни стояли пасмурные, давящие. Нам повезло: пришло солнце. Автобус катил через синий день. За Ферзиковым он начал подбирать грибников-счастливцев с огромными корзинами и мешками белых грибов. Мы с Кобликовым упростили шофера малость постоять на обочине, стянули с себя майки и скоро насовали в них боровиков. Наш удачливый сбор мы отдали Татьяне Алексеевне, жене Константина Георгиевича.

В Тарусе, покамест шли от автостанции, успели полюбоваться вино-красным цвелем, косогором, Окой, даями, что открывались прямо со двора дома Паустовских. Мы жили под впечатлением «Ильинского омута», напечатанного Стариком в «Известиях», и такое родство ощущали к этим местам через его любовь к ним, и так близка была его тревога за вечную красоту скал того берега, сокрушаемых взрывчаткой, что невольно останавливались и долго глядели с возвышения, как будто приехали сюда в последний раз.

Увидели Константина Георгиевича за распахнутым окном кабинета. Он привстал и кивнул, еще не успев расправить сложенных плеч. Мы шли обычным шагом, а тут почти побежали. Быстро на крыльцо, спуск по лестнице пролетели сквозь кухню, две лесенки вверх — и кабинет, перед которым, помявшись, сняли туфли.

Старик переносил пишущую машинку с главного стола на стол слева от двери. Заметил, что мы в носках, велел обуться. Но понял, что в носках мы чувствуем себя вольготно, и предложил сесть.

У нас, российских, в крови хозяйская простота, нерасчленимая с властным обращением с гостями. В своей простоте Паустовский был прост без пригнетания, доверительно прост, равно прост. Если бы я не помнил высокомерной простоты, обманной, злокозненной, расчленимой, то не выделил бы простоты Паустовского.

Я сел в кресло. Оно оказалось топким: глубоко провалился. Брюки натянулись на ногах, надобие гусарских трико. Они теснили мои ноги после перевертывания водного велосипеда на раке Суходре. Ненавижу я эти брюки, но других не купит. Разорился на переезде из Магнитогорска в Калугу. Долги.

Престранный мы народ: оригинальны до самовитости, но страдаем массовыми увлечениями. Парни да и мужичье стараются сейчас влазить в узкие брюки, женщины, даже те, у которых ноги, точно колесчатый вал трактора, носят мини-платье.

Подумает небось Старик, что и я подвержен эпидемиям моды: пихонствую в «дудочках».

Понапрасну вогнал себя в неловкость. Вспомнилось, что именно Старик иронизировал над тем, что в конце пятидесятих годов европейские газеты взялись осуждать широкие штаны русских. Не столько обывательство, он усматривал в этой дискуссии, сколько происк для унижения другого народа. Он сам ходил в широких штанах, потому и знал, что летом в них прохладней, а зимой теплей, что в условиях России, особенно в труде, они куда удобней и гигиеничней, чем тесные.

Я взял в руки первый том перевода на французский язык «Повести о жизни» — «Далекие годы». Прочел начало главы, в

которой умирает отец Паустовского, и на меня повеяло разливом, холодом весенней ночи, явился представлянию остров, где ночью в старой усадьбе, умирая, отец посетовал гимназисту Косте на то, что его может погубить бесхарактерность.

Старик назвал фамилии переводчиц тома. Среди них была русская женщина Лидия Николаевна Делекторская. О ней я впервые узнал из его очерка «Мимолетный Париж». Трех лет ее увезли из Омска. Через двадцать лет она стала секретарем, помощницей, подругой художника Анри Матисса. Два десятилетия удивительного сотрудничества и человеческой близости. Матисс умер на руках Лидии Николаевны. Во время парижской встречи она обещала Паустовскому подарить нашей стране некоторые картины Матисса. Она передала их Эрмитажу и после дарила нам работы Матисса — графику, аппликации...

Есть люди с узким входом в сердце, куда попасть так же трудно, как в пещеры крымского каньона, выходящего к хазарско-караимскому городищу Чуфут-Кале. Сердце Старика было другим: амстелищным, подобно собору святых Петра и Павла в Риме. Вероятно, самое священное место в нем наряду с Андреем Платоновым занимал Всеволод Вячеславович Иванов. В то лето Старик готовил к изданию дневники Иванова. Из огромного объема, записей он отобрал примерно треть. Невозможность опубликовать их целиком печалила Паустовского. Как неподдельный документ эпохи, где художник и гражданин своего общества, мыслитель, осознающий планетарные течения сознания, страстотерпец, поглощенный чувствами мира, он сопоставил дневник Всеволода Вячеславовича с дневником Гончуров.

Беспощадность моральных и творческих мерил Всеволода Иванова, прилагаемых к себе, привлекала в нем Старика еще сильнее, чем строгая требовательность к весьма известным писателям.

Восхищение Константина Георгиевича воспоминаниями Всеволода Иванова о несостоявшихся сибирских литераторах слылось для меня с восхищением самим Стариком.

Спустились обедать. Оригинальны тарусские дома: в полуподвале тут столовая и прочие служебные помещения. Еще в кабинете к нам присоединилась Татьяна Алексеевна. Кобликов говорил мне раньше, что она оберегает время и здоровье Старика, поэтому праздные визитеры очень редко пробиваются к нему. Кобликов был вхож к Паустовским. Представляя Татьяну Алексеевну меня, Константин Георгиевич сказал:

— Мой ученик.

И я удостоился приветливости строгой Татьяны Алексеевны.

Я не был учеником Паустовского. Разумеется, все, кого мы читаем, в какой-то мере наши учителя непроизвольные. Больше тягу, наверно, я испытывал к творчеству Горького, Леонова, Платонова, Сергеева-Ценского, Малышкина, Нилина, Олеси, Яшина, Алексея Кожевникова... Я не искал примеров для следования — еще в детстве присягнул простецкому в душе нию Ивана Крылова: лучше по-лгушачи проказать, но ни на кого не походить.

Паустовский не был моим учителем, однако я причисляю себя к школе его человеколюбивой природы и духовно-художественного мира...

За обедом заговорили о последних дождях. Старик сказал, что в недавнюю грозу через кухню, в которой сидим, проследовала шаровая молния, маленькая, величиной с кулак. Она проследовала мимо стиралки, хлопотавшей возле плиты. Стиралка подтвердила это. Другая шаровая молния тоже прошла через дом, влетев в окно кабинета, и взорвалась в саду, как бомба. Второй раз Паустовский отсутствовал, а в первом случае сидел за столом и успел заметить, каким

густым, волокнистым, радужным был шар молнии.

По всей вероятности, Паустовский занимался посмертными публикациями произведений Юрия Олеси, которые еще не печатались. Издательство «Советская Россия» вот-вот должно было выпустить в свет книгу записок и миниатюр Юрия Олеси «Ни дня без строчки». О близком выходе книги Паустовскому не терпелось оповестить нас.

В литинститутские годы Старик обращал внимание студентов на «Дневник» Жюль Ренара как на образец прозорливого видения сущностей творчества. «Ни дня без строчки» он относил к подобным редчайшим книгам. Паустовский не вспомнил о своей «Золотой розе», почти десятилетием раньше напечатанной и, я убежден, подтолкнувшей оригинального Олешу. Старик, к его чести и скромности, не ссылаясь на самого себя, не культивировал гордыни из-за прямого влияния, оказанного на крупных современников, не намекал даже на ту мощную подзарядку у их замыслов. Он был новатор, обстреливаемый критикой, предвзято посягавшей на право мордовать тех, для кого прискорбна была жестокость по отношению к природе и человеку, кто горевал о несовершенствах личности и оравнодушных внутрисемейных связях, кому призывное патетическое видение труда — подвига жизни, самопожертвования не застило видения труда-изнурения, бытия, изверженного лишениями и нуждающегося в простых радостях, даваемых отдыхом, сытостью, жилищным благополучием, сносной одеждой... За ним, Паустовским, опасным полем новаторства было легче проходить другим.

Обед в Тарусе радовал праздничным обилием и вкусом: свежими огурцами и помидорами, золотистой копчушкой, супом из цветной капусты, котлетами с отварным картофелем, посыпанным укропом и петрушкой. На последнем стиралка взгромоздила на стол арбуз. Все заохали, мол, некуда больше, наелись до отвала. Но едва арбуз хрустнул под ножом — Старик сам взялся его обиходить — и замерцал алым развалом, все засияли от восторженной алчности.

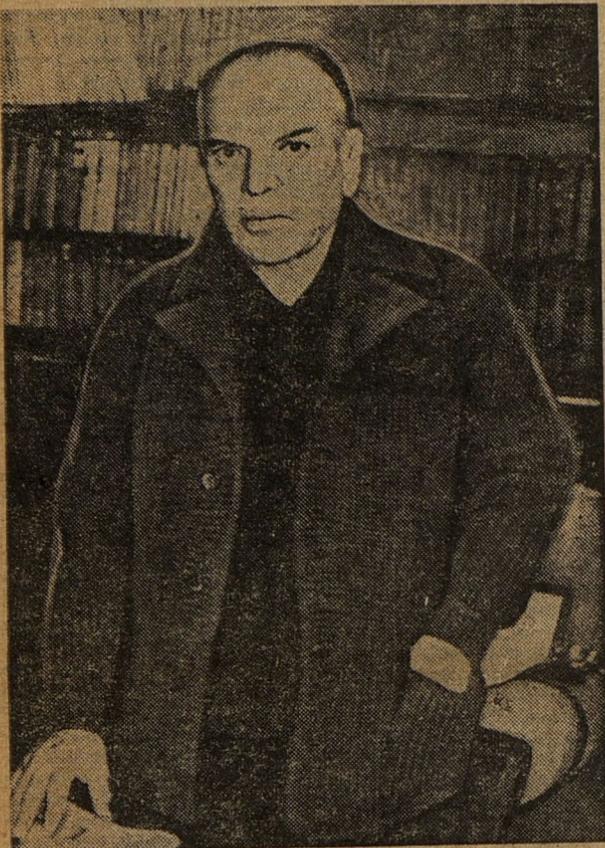
После обеда Старик и я вернулись в кабинет, Татьяна Алексеевна и Кобликов задержались в полукомнате возле кабинета. Кобликов не только пользовался поддержкой Константина Георгиевича в собственных литературных делах, но и старался помогать ему в бытовых заботах.

**О**

КОНЧИВ институт, я больше десятилетия встречался со Стариком от случая к случаю, как бы вскользь. К добрым совпадениям относятся пребывания в Доме творчества «Переделкино» в одни путевочные сроки. Однако и там обычные душевные разговоры урывками. Откровенность, о которой поведаю, я связываю и с характером Паустовского, и с его стихийно-неустанным дарованием воспитателя... По деликатной застенчивости своей он, по крайней мере при мне, любовным образом не учил мужеству. Как в каждом человеке, в нем жила потребность делиться пережитым, значит, по-моему, передать свои страдания другому в их высветленном, освобожденном от разрушительных мук состоянии. Он делился, он, через свое, ввел в сердце на стойкость, а то и на доблесть, без которых не может существовать ни одно человеческое занятие, тем более писательство.

Паустовский был неустанным открывателем прекрасного в людях, природе, в произведениях искусства и творческом труде.

Писатель, нарисовавший в очерках, рассказах, повестях и романах огромную галерею человеческих образов, он сумел достичь этого благодаря тому, что являл собой, как и другие крупные художники его поколения, талант, доброту, совесть на рода.



Константин ПАУСТОВСКИЙ

Они свелись к малым языковым уточнениям. Я избегал сравнительного слова «будто» из-за его бухающе-неуклюжого звучания. Старик зацепился за слова «точно» и «словно», которыми я с легкостью заменял «будто», и навсегда заронил трепет перед их торопливым применением, проведя тонкое, как бы магнитно-волновое различие меж ними. Ему приглянулись мои уральские, в частности башкирские пейзажи, а нозому для себя, очень зримо-слово «тягун» он обрадовался. Тягуном на реках горного Урала называют места ниже перекатов, где вода еще сильно несет и производит впечатление горбатости растягивающейся на поверхности; тягун обычно переходит в плес.

У Паустовского была эстетическая осторожность против поэтизации оснащенных технической мощью городов, заводов, машин. Видя в индустрии благо созидательности, с тревогой, на редкость осознанной для того периода (тогда хватало на этот счет беззаботности, да и сейчас, к несчастью, достаточно), он видел в ней пагубу. Он сам страдал от ее щедрот — астма — и по-граждански смело выступил в «Литературной газете» со статьей об опасностях загазованности столичного воздуха. Сказав, что в рассказе «Гудки паровозов» я удержался в пределах художественной меры, он, чтобы оградить меня от возможных переклещиваний, привел примеры ужасающей подмены безобразного лжепрекрасными описаниями, допускаемыми и талантливыми прозаиками: один из них так нарисовал мартемовский

современности. Как и в других литературных работах, желание соответствовать правде минувшего не оставляет меня.

Опять Переделкино, городок писателей, Дом творчества. За стол, где обедали Александр Яшин и я, пересел Паустовский. Корней Иванович Чуковский и Павел Филиппович Нилин гуляли по городку и решили навестить Константина Георгиевича. Вот и они очутились за нашим столом. Нилин оставил шляпу и пальто в раздевалке. Чуковский, которому нездоровилось, сидел за столом в демисезоне, зацепив клюшку за подлокотник жесткого кресла, а шляпу приладив на вскиннутое колено.

— Мужики, не едите ли вы хлеб даром? — спросил Нилин трезвое застолье и, не дожидаясь ответа, сказал: — Я оправдал сегодняшний день: написал экзерсис на пять страничек. (Экзерсисами он называл утренние рассказы, написанные в один присест.) Корней Иванович тоже оправдал: покуда писатели в Доме творчества лыжи тянут да завтракают, он уж полсмены отсидел за станком. Все в русский язык вникает. Прочитаешь его статью, и с ходу понятно, на русском ли языке пишешь или на суррогате русского. Александр Яковлевич — крестьянин. До зари встает. Смену считай, откорпел. Он, мужики, не скажет, чь делал. Крестьянина спросишь, где на реке крупная рыба берет, ни за что не скажет. Вам скажи, вы, чем черт не шутит, сомов начнете ловить. Константин Георгиевич — потомственный интеллигент. Он не поскучит на откровенность. Вижу по лицу, Константин Георгиевич, пишете шедевр,